

Сторож. Максим Горький gorkiymaxim.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Сторож. Максим Горький

Я – ночной сторож станции Добринка; от шести часов вечера до шести утра хожу с палкой в руке вокруг пакгаузов; со степи тысячью пастей дует ветер, несутся тучи снега, в его серой массе медленно плывут туда и сюда локомотивы, тяжело вздыхая, влача за собою черные звенья вагонов, как будто кто-то, не спеша, опутывает землю бесконечной цепью и тащит ее сквозь небо раздробленную в холодную белую пыль. Визг железа, лязг сцеплений, странный скрип, тихий вой носятся вместе со снегом.

У крайнего пакгауза, в мутных вихрях снега возятся две черные фигуры, это пришли казаки воровать муку. Видя меня, они, отскочив в сторону, прячутся в сугроб, и потом, сквозь вой и шорох вьюги, я слышу нищенски жалобные слова просьбы, обещания дать полтинник, ругань.

– Бросьте это, ребята, – говорю я.

Мне лень слушать их, не хочется говорить с ними, я знаю, что они – не бедняки, воруют не по нужде, а на продажу, для пьянства, для женщин.

Иногда они подсылают красивую жолнерку Леску Графову; расстегнув тулупчик и кофту, она показывает сторожам груди; упругие, точно хрящ, они стоят у нее горизонтально.

– Глядите-тко, – как пушки! – задорит и хвастается она. – Ну, хотите за мешок пшеничной второго сорта? Ну, – третьего?

С нею деловито торгуются молодой религиозный тамбовский парень Байков и усманский татарин, хромой Ибрагим.

Она стоит перед ними, открыв грудь, снег тает на коже у нее, встряхнув плечами, как цыганка, она ругается:

– Кацапы, ну, скорее! Болотное племя, али вы найдете где эдакую сладость, как у меня, падаль песья!

Она презирует русских мужиков. Голос у нее грудной, сильное красивое лицо освещено дерзкими глазами кошки. Ибрагим ведет ее под крышу пакгауза, а ее товарищи, бросив на салазки мешок или куль, – уезжают.

Мне противно бесстыдство этой женщины и до тоски жалко ее прекрасное, сильное тело. Ибрагим называл Леску собакой и плевался, вспоминая ее ласки, а Байков тихо и задумчиво говорил:

– Таких убивать надо бы...

По праздникам, нарядно одетая, в скрипучих козловых башмаках, в алом платочке на густых каштанового цвета волосах, она, приходя в город, обслуживает телом своим "интеллигенцию", относясь ко всем покупателям одинаково дерзко и презрительно.

Когда она привязывалась ко мне, я ее прогонял с моего участка, но как-то, теплой светлой ночью, сидя на лесенке пакгауза, я задремал, и, открыв глаза, – увидел перед собой Леску; она стояла, сунув руки в карман тулупчика, нахмуря брови, статную фигуру ее внимательно освещала луна.

– Не бойсь, – не воровать пришла – гуляю!

По звездам – было уже далеко за полночь.

– Поздновато гуляешь.

– Баба – ночью живет, – ответила Леска, садясь рядом со мной. – Ты чего же спишь? Али за сон деньги платят?

Достала из кармана горсть семян подсолнуха и, грызя их, спросила:

- Ты, будто, грамотей? Скажи-ка, где Оболак-город?
- Не знаю.
- Мать Божия появилась там, кверху ручки, пишется, а младенец Христос - в подоле у ней...
- Абалацк...
- Где он?
- На Урале где-то, или в Сибири.

Облизав губы, она сказала:

- Пойти, что ли, туда? Далеко оно. А, пожалуй, надо итти.
- Зачем?
- Молиться, гршна больно. Все через вас, кобелей... Покурить есть?

Закурив - предупредила:

- Казакам - не говори, гляди, что курю, - у нас не любят, когда баба дымит.

Очень красиво было ее строгое лицо, нарумяненное зимним воздухом, ярко блестели темные зрачки в опаловых овалах белков.

Золотая полоска сверкнула в небе - женщина перекрестилась, говоря:

- Упокой Господь душу! Вот и моя душа так же падет. Тебе когда скушнее, - в светлые ночи, али в темные? Мне - в светлые.

Заплевала огонек окурка папиросы, бросила его и, зевнув, предложила:

- Давай - побалуемся?

А когда я отказался - добавила равнодушно:

- Со мной хорошо, все хвалят...

Я сказал несколько слов о ее отталкивающем бесстыдстве - ласково и мягко сказал. Не глядя на меня, она ответила спокойным, ровным голосом.

- Это - от скуки потеряла я стыд. Скушно, человек...

Странно мне было слышать из уст ее слово "человек" - оно прозвучало необычно, незнакомо. А женщина, закинув голову, глядя в небо, говорила медленно:

- Я не виноватая; говорится: так сделал Бог, ценят бабу с ног. Не виноватая я в этом...

Посидев молча еще минуту, две, она встала, оглянулась.

- Пойду к начальнику...

И не спеша ушла по нитям путей, по рельсам, высеребренным луною, а я остался, подавленный словами:

- Скушно, человек...

Мне в ту пору была непонятна "скука" людей, чья жизнь рождается и проходит на широких плоскостях, в пустоте, ярко освещаемой то солнцем, то луною, на равнинах, где человек ясно видит свое ничтожество, где почти нет ничего, что укрепляло бы волю к жизни.

Вокруг меня мелькали люди, для которых все, чем я жил, было чуждо, каждый из них

Сторож. Максим Горький gorki.ucoz.ru
отбрасывал свое отражение в душу мне, и в непрерывной смене этих отражений я чувствовал себя осужденным на муку понимать непонятное.

Вот предо мною буйно кружится Африкан Петровский, начальник станции, широкогрудый длиннорукий богатырь, у него выпуклые – рачьи темные глаза, черная борода, он весь, как зверь, оброс шерстью, а говорит – чужим голосом – тенором, и когда сердится, то свистит носом, широко раздувая калмыцкие ноздри. Он – вор, заставляет весовщиков вскрывать вагоны с грузом портов Каспийского моря, весовщики таскают ему шелк, сласти, он продает краденое – и устраивает по ночам на квартире у себя "монашью жизнь". Он жесток, бьет по ушам и по зубам станционных сторожей, говорят – до смерти забил свою жену.

Вне службы он наряжается в алую шелковую рубаху, бархатные шаровары, в татарские сапоги зеленого сафьяна, носит лиловую, шитую золотом тюбетейку на черной шапке курчавых волос; таков – он похож на трактирного певца, одетого в "боярский костюм".

К нему приходит помощник исправника Маслов, лысый, круглый, бритый, точно ксеңдз, с носом хищной птицы и лисьиими глазками распутной женщины, это очень злой, хитрый, лживый человек, в городе его прозвали "Актриса"; является мыловар Тихон Степахин, рыжий, благообразный мужик, тяжелый, как вол, полусонный, – на его заводе рабочие отравляются чем-то и заживо гниют; его несколько раз судили и штрафовали за увечья рабочих; – приходит кривой дьякон Ворошилов, пьяница, грязный, засаленный человечешко, превосходный гитарист и гармонист, рябое скуластое лицо его в серых волосах, толстых, как иглы ежа; у дьякона маленькие холеные руки женщины и красивый – ярко-синий глаз: дьякона так и зовут "Краденый глаз".

Приходят бойкие девицы из села и казачки из станицы, иногда с ними Леска. В небольшой комнате, тесно заставленной диванами, садятся за тяжелый круглый стол, нагруженный копченой птицей, окороками, множеством всяких солений, мочеными яблоками и арбузами, квашеной, вилоквой капустой, – среди всей этой благодати блестит четверть водки. – Петровский и друзья его, почти молча, долго жуют, чавкают, сосут водку из серебряной "братской" стойки, – в нее входит четверть бутылки.

Наелись. Степахин рыгает, как башкир; крестится дьякон, – нежно улыбаясь, настраивает гитару; переходят в большую комнату, где нет мебели, кроме полдюжины стульев, и начинают петь.

Поют – дивно. Петровский – тенором, Степахин – густейшим мягким басом, у дьякона – хороший баритон, Маслов умело вторит хозяину, женщины тоже обладают хорошими голосами, – особенно выдается чистотой звука контраalto казачка Кубасовой; голос Лески криклив, – дьякон часто грозит ей пальцем. Поют благоговейно, как пели бы во храме, и все строго смотрят друг на друга, – только Степахин, широко расставив ноги, опустил глаза, и лицо у него удивленное, точно он не верит, что это из его горла бесконечно льется бархатная струя звука. Песни мучительно грустные, иногда торжественно поется что-либо церковное, чаще всего "Покаяния двери отверзи".

Белки рачьих глаз Петровского налиты кровью, он вытягивается всем телом, как солдат в строю, и орет:

– Дьякон – плясу! Тихон – делай! Живем!

– Начали! – отзывается дьякон, взмахивая гитарой и хитрейшим перебором струн, с ловкостью фокусника начинает играть трепака, а Степахин – пляшет. Деревянное лицо мыловара освещено мечтательной усмешкой, грузное тело его исполнено гибкой, звериной грации, он плавает по комнате легко, как сом в омуте, весь в красивых ритмических судорогах и, бесшумно выписывая ногами затейливые фигуры, смотрит на всех взглядом счастливого человека. Пляшет он чарующе хорошо, и хотя казачка Кубасова, подвизгивая, заманчиво и ловко ходит вокруг него, но Степахин затмевает ее невыразимой красотой ритмических движений мощного тела, – его пляска опьяняет всех.

Африкан Петровский озверел от радости, орет, свистит, взмахивает башкой, вытряхивая из глаз слезы, дьякон, перестав играть, обнимает Степахина, целует и, задыхаясь, бормочет:

- Тихон! - богослужебно... Голубчик. Все... Все простится...

А Маслов кружится около них и кричит:

- Тихон! Царь! Талант! Убийца!

Эти люди выпили две четверти водки, но только теперь они хмелеют, и мне кажется, что это - опьянение от радости, от взаимных ласк и похвал. Женщины тоже охмелели, глаза их жадно горят, на щеках жаркий румянец, они обмахиваются платочками и возбуждены, как застоявшиеся лошади, которых вывели из темной конюшни на широкий двор, на свет и тепло весеннего дня.

Леска, полуоткрыв рот, дышит тяжело, смотрит на Степахина сердито, влажными глазами и, покачиваясь на стуле, шаркает по полу подошвами башмаков.

За окнами свистит и воет ветер, в трубе печи гудит, белые крылья шаркают по стеклам окон. - Степахин, вытирая пестрым платком потное лицо, говорит тихо и виновато:

- Из-за плясок этих, в хороших людях никакого уважения нету ко мне...

Петровский яростно обкладывает хороших людей многословной затейливой матерщиной. Женщины фальшиво взвизгивают, желая показать, что им стыдно - а сочетания ззорных слов победно обнаруживают прелестную гибкость русского языка.

Снова играет дьякон, а Петровский пляшет, бурно, удало, с треском, с грохотом и криками, как-будто разрывая и ломая что-то невидимо стесняющее его, пляшет Леска, как безумный неумело прыгает Маслов. Топот, свист, визг, непрерывное мелькание пестрых юбок, и, отчеканивая каблуками дробь, Петровский свирепо, мстительно орет:

- Эх-ма! Пропадаю-у!

Слышно, как он скрипит зубами. В этом исступленном весельи нет смеха, нет легкой, окрыленной радости, поднимающей человека над землей, это - почти религиозный восторг; он напоминает радения хлыстов, пляски дервишей в Закавказье. В этом вихре тел - сокрушительная силища, и безысходное метание ее кажется мне близким отчаянию. Все эти люди - талантливы, каждый по-своему, жутко талантливы; они опьяняют друг друга исступленной любовью к песне, к пляске, к телу женщины, к победоносной красоте движения и звука, все, что они делают, похоже на богослужение дикарей.

Петровский снимает меня с дежурства для участия в "монашьем житье", потому что я много знаю хороших песен, не плохо умею "сказывать" их и могу, не пьянея, глотать множество неприятной мне водки.

- Пешков, - валяй! - орет он, - он орет, даже когда обнимает женщин, ревет зверем, - это его потребность.

Становлюсь к стене и "валяю". Нарочито выбирая трогательные и красивые, - я "сказываю" песни, стараясь обнажить красоту слова и чувства, скрытую в них. И подчиняюсь силе их неизбывной тоски, близкой моей душе, враждебно отрицаемой разумом.

- Господи, - вызывает дьякон, хватаясь за голову, его маленькие нежные ладони совершенно тонут в космах полуседых волос. Степахин смотрит на меня изумленно и, кажется, с завистью, лицо его вздрагивает неприятно, Петровский так стиснул зубы, что скулы его выступили желваками. А Маслов, посадив Кубасову на колени себе, забыл о ней и глядит в пол, как больная собака. Не понимаю, чего мне надо от этих людей, но иногда думалось, что если насытить их песнями до полноты душ, - тогда они как-то изменятся, обнаружат себя более понятными мне. Вот они, восхищаясь, обнимают, целуют меня, дьякон плачет.

- Разбойник, - говорит мне Маслов, глядя руку мою, Степахин молча целует меня.

- Пей, все равно пропадаешь! - ревет Петровский, а Леска, размахивая руками, говорит:

- Влюбилась я в него, при всех говорю - влюбилась, даже ноги трясутся...

А через минуту они ненасытно требуют еще чего-то.

Знаю я, что они люди негодные, но - они религиозно поклоняются красоте, служат ей, до самозабвения, упиваются ядом ее и способны убить себя ради нее.

Из этого противоречия возникает облако мутной тоски и душит меня. А у них исступление восторга восходит до высшей точки своей, но - все песни уже спеты, пляски сплясаны. - Раздевай баб! - орет Петровский.

Раздевал всегда Степахин, он делал это не торопясь, аккуратно развязывая тесемки, расстегивая крючки и деловито складывая в угол кофты, юбки, рубахи.

Рассматривали прекрасное тело Лески, осторожно трогали ее вызывающие груди, стройные ноги, великолепный живот, ходили вокруг женщин изумленно охая и хвалили тело их так же восторженно, как песню, пляску. Потом снова шли к столу в маленькую комнату, ели, пили и - начиналось неопишное, кошмарное.

Животная сила этих людей не удивляла меня - быки и жеребцы сильнее. Но было жутко наблюдать нечто враждебное в их отношении к женщинам, красотой которых они только что почти благоговейно восхищались. В их сладострастии я чувствовал примесь изощренной мести, и казалось, что эта месть возникает из отчаяния, из невозможности опустошить себя, освободить от чего-то, что угнетало и уродовало их.

Помню ошеломивший меня крик Степахина: он увидел отражение свое в зеркале, его красное лицо побурело, посинело, глаза исступленно выкатились, он забормотал:

- Братцы - глядите-ка, Господи!

И - взревел:

- У меня - нечеловечья рожа - глядите! Нечеловечья же, - братцы!

Схватил бутылку и швырнул в зеркало.

- Вот тебе, дьяволово рыло, - на!

Он был не пьян, хотя и много выпил, - когда дьякон стал успокаивать его, он разумно говорил:

- Отстань, отец... Я же знаю, - нечеловечьей жизнью живу. Али я человек? У меня вместо души чорт медвежий, - ну, отстань. Ничего не сделать с этим...

В каждом из них жило - ворочалось - что-то темное, страшное. Женщины взвизгивали от боли их укусов и щипков, но принимали жестокость как неизбежное, даже как приятное, а Леска нарочно раздражала Петровского зазорными возгласами:

- Ну - еще! Ну-ка, ущипни, ну?

Кошачьи зрачки ее расширились, и в эту минуту было в ней что-то похожее на мученицу с картинки. Я боялся, что Петровский убьет ее.

Однажды, на рассвете, идя с нею от начальника, я спросил: зачем она позволяет мучить себя, издеваться над собою?

- Так он сам же себя мучает. Они все так. Дьякон-то кусается, а сам плачет.

- Отчего это?

- Дьякон - от старости, сил нет. А другие - Африкан со Степахиным тебе не понять, отчего. А я и знаю, да сказать не умею. Знаю я - много, а говорить не могу, покамест слова соберу - мысли разбегутся, а когда мысли дома - нету слов.

Она, должно быть, действительно что-то понимала в этом буйстве сил, помню, весенней ночью, она горько плакала, говоря:

- Жалко мне тебя, пропадешь, как птица на пожаре, в дыму. Ушел бы лучше куда в другое место. Ой, всех жалко мне...

И нежными словами матери, с бесстрашной мудростью человека, который заглянул глубоко во тьму души и печально испугался тьмы, она долго рассказывала мне страшное и бесстыдное.

Теперь мне кажется, что предо мною разыгрывалась тяжелая драма борьбы двух начал - животного и человеческого: человек пытается сразу и навсегда удовлетворить животное в себе, освободиться от его ненасытных требований, а оно, разрастаясь в нем, все более поработывает его.

А в ту пору эти буйные праздники плоти возбуждали во мне отвращение и тоску, смешанные с жалостью к людям, - особенно жалко было женщин. Но, изнывая в тоске, я не хотел отказаться от участия в безумствах "монашьяй жизни", - говоря высоким стилем, я страдал тогда "фанатизмом знания", меня пленил и вел за собою "фанатик знания - Сатана".

- Все надо знать, все надо понять, - сурово сквозь зубы говорил мне М. А. Ромась, посасывая трубку, дымно плевал и следил, как голубые струйки дыма путаются в серых волосах его бороды. - Не подобает жить без оправдания, это значило бы - живете бессмысленно. Так что - привыкайте заглядывать во все щели и ямы, может, там, где-то и затискана вам потребная истина. Живите безбоязненно, не бегая от неприятного и страшного, - неприятно и страшно, потому что непонятно. Вот что!

Я и заглядывал всюду, не щадя себя, и так узнал многое, чего мне лично лучше бы не знать, но о чем рассказать людям - необходимо, ибо это - их жизнь трудная, грязная драма борьбы животного в человеке, который стремится к победе над стихией в себе и вне себя.

Если в мире существует нечто поистине священное и великое, так это только непрерывно растущий человек, - ценный даже тогда, когда он ненавистен мне.

Впрочем, - внимательно вникнув в игру жизни, я разучился ненавидеть, и не потому, что это трудно - ненависть очень легко дается, - а потому, что это бесполезно и даже унижительно, - ибо - в конце концов ненавидишь нечто свое собственное.

Да, философия - особенно же моральная - скучное дело, но когда душа намозолена жизнью до крови и горько плачет от неисчерпаемой любви к "великолепному пустяку" - человеку, невольно начинаешь философствовать, ибо - хочется утешить себя.

Прожив на станции Добринка три или четыре месяца, я почувствовал, что больше - не могу, потому что, кроме исступленных радений у Петровского, меня начала деспотически угнетать кухарка его, Маремьяна, женщина сорока шести лет и ростом два аршина десять вершков; взвешенная в багажной на весах "фербэнкс", она показала шесть пудов тринадцать фунтов. На ее медном луноподобном лице сердито сверкали круглые зелененькие глазки, напоминая окись меди, под левым помещалась бородавка, он всегда подозрительно хмурился. Была она грамотна, с наслаждением читала жития великомучеников и всею силой обширнейшего сердца своего ненавидела императоров Диоклетиана и Деция.

- Нарвались бы они на меня, я б им зенки-то выдрала!

Но свирепость, обращенная в далекое прошлое, не мешала ей рабски трепетать перед "Актрисой", Масловым. В часы пьяных ужинов она служила ему особенно благоговейно, заглядывая в его лживые глаза взглядом счастливой собаки. Иногда он, притворяясь пьяным, ложился на пол, бил себя в грудь и стонал:

- Плохо мне, плохо-о...

Она испуганно хватала его на руки, и как ребенка, уносила куда-то в кухню к себе.

Его звали - Мартин, но она часто, должно быть со страха пред ним, путала имя его с именем хозяина и называла:

- Мартыкан.

Тогда он, вскакивая с пола, безобразно визжал:

- Что-о? Как?

Прижав руки к животу, Маремьяна кланялась ему в пояс и просила хриплым от испуга голосом:

- Прости, Христа ради...

Он еще более пугал ее свистящим тонким визгом, - тогда огромная баба молча, виновато мигала глазами, из них выскакивали какие-то мутно-зеленые слезинки. Все хохотали, а Маслов, бодая ее головою в живот, ласково говорил:

- Ну, - иди, чучело! Иди, нянька...

И когда она осторожно уходила - рассказывала, не без гордости:

- Буйвол, а сердце - необыкновенной нежности...

В начале дней нашего знакомства Маремьяна и ко мне относилась добродушно и ласково, как мать, но однажды я сказал ей что-то порицающее ее рабью покорность "Актрисе". Она даже отшатнулась от меня, точно я ее кипятком ошпарил. Зеленые шарики ее глаз налились кровью, побурели, грузно присев на скамью, задыхаясь в злом возмущении, качаясь всем телом, она бормотала:

- Ма-мальчишка, - да ты что это? Это - про него, ты? Эдаким-то словом? Да - я тебя... Он тебя... Тебя надо на мельнице смолоть! Ты - с ума ли сошел? Он - святе святого, а ты... Ты - кто?

И крикнула, неожиданно густо:

- Отравить тебя, волчья душа! Уйди!

Я был опрокинут этим взрывом изумленной злобы и, несмотря на юность мою, почувствовал, что грубо коснулся чего-то поистине священного или очень наболевшего. Но - как я мог догадаться, что эта масса жира и мяса, размещенная на огромных костях, носит в себе нечто неприкосновенное и столь дорогое для нее? Так учила меня жизнь понимать равноценность людей, уважать тайно живущее в них, учила осторожней, бережливее относиться к ним.

После этого Маремьяна, люто возненавидев меня, возложила на плечи мои множество обязанностей по хозяйству начальника станции. Сменяясь с дежурства, после бессонной ночи, я должен был колоть и таскать дрова на кухню и в комнаты, чистить медную посуду, топить печи, ухаживать за лошадью Петровского и делать еще многое, что поглощало почти половину моего дня, не оставляя времени для книг и для сна. Женщина откровенно грозила мне:

- Затираню до того, что на Кавказ сбежишь.

"Кавказ требует привычки", - вспоминал я изречение Баринова и написал начальству в Борисоглебск прошение, в котором - стихами - изобразил Маремьянино тиранство. Прошение имело успех: вскоре меня перевели на товарную станцию Борисоглебска, поручив мне хранение брезентов, мешков и починку их.

Там я познакомился с обширной группой интеллигентов. Почти все они были "неблагонадежны", изведали тюрьмы и ссылку, они много читали, знали иностранные языки, все это - исключенные студенты, семинаристы, статистики, офицер флота, двое офицеров армии.

Эту группу - человек шестьдесят - собрал в городах Волги некто М. Е. Ададулов, делец, предложивший Правлению Грязе-Царицынской дороги искоренить силами таких людей невероятное воровство грузов. Они горячо взялись за это дело, разоблачали плутни начальников станции, весовщиков, кондукторов, рабочих и хвастались друг перед другом удачной ловлей воров. Мне казалось, что все они могли бы и должны делать что-то иное, более отвечающее их достоинству, способностям, прошлому, - я

Сторож. Максим Горький gorki.ucoz.ru
тогда еще не ясно понимал, что в России запрещено "сеять разумное, доброе, вечное".

Я шел по середине, между первобытными людьми города и "культуртрегерами" своеобразного типа, и мне было хорошо видно несоединимое различие этих групп.

Весь город, конечно, знал, что "ададуловцы" "политики, - из тех, которых вешают", и, зорко следя за работой этих людей, ненавидел, боялся их. Жутко было подмечать злые, трусливо-мстительные взгляды обывателей, - они ненавидели "ададуловцев" и за страх, как личных врагов своих, и за совесть, как врагов "веры и царя".

Мой знакомый токарь, Павел Крюков, сидя со мною в кабаке за бутылкою пива, громко рассуждал:

- Как можно допускать к делу этаких людей? Их надо гнать на необитаемые острова, - в Робинзоны их отдать! А - того лучше - повешать! Два года тому назад вешали их в Питере.

Крюков был человек весьма начитанный, увлекался географией и стихами Жуковского, имел штук двадцать хороших книг и среди них "Процесс первого марта". Таинственно давая мне эту книгу, он сказал:

- Вот, почитай, каковы они! Берегись, гляди, - ни за грош погубят!

Так рассуждал не один он, разумеется.

...Я познакомился с литератором Старостиным-Маненковым - он служил в канцелярии товарного отдела Грязе-Царицынской дороги.

Среднего роста, полный, Старостин напоминал скопца безволосым пухлым лицом и бесцветными мертвыми глазами; тяжелая походка, неуверенные движения усиливали это сходство. Его дряблое тело являлосьместилищем разнообразных болезней, - мнительность усиливала и обостряла их. Он непрерывно охал, кряхтел, кашлял и плевал по всем направлениям, - в ящик из-под макарон, служивший ему для рваной бумаги, в горшки цветов на подоконниках, в пепельницу и просто на пол, к двери. Понатужится, плюнет, посмотрит на результат и, сокрушенно покачивая лысоватой головой, скажет:

- Плохо!

Вечерами в своей маленькой комнатке с кумачными занавесками на окнах, горшками фуксий и гераней на подоконниках, с иконой мучеников Кирика и Улиты в углу, он, сидя за столом, тяжело нагруженным ворохами исписанной бумаги, пил маленькими рюмочками водку, закусывал репчатым луком и жаловался, тонко взвизгивая:

- Глеб Успенский глумится над мужиком, а я пишу кровью сердца! Ты, читающий человек, - ну скажи мне: где, в чем, какая разница между Успенским и Лейкиным? Однако его печатают в лучших журналах, а - я...

Рассказы Старостина печатались в провинциальных газетах, но один или два были помещены, кажется, в журнале "дело". - Старостин любил, чтоб ему напоминали об этом.

Я напоминал.

- Много ли? - печально, но уже не так жалобно, восклицал он.

- Много.

Он сполз со стула на пол, полез на четвереньках под широкую кровать и, вытащив оттуда большой узел, завязанный в серую шаль, хлопнул по узлу ладонью, поднял облако пыли, закричал, задыхаясь:

- Вот - все готово! Соком сердца написано! Да-да! Кр-ровью...

Лицо его багровело, глаза наливались пьяной слезой, но однажды, трезвый, он прочитал мне только-что написанный им рассказ о мужике, который во время пожара

Сторож. Максим Горький gorki.ucoz.ru

спас от гибели в огне любимую лошадь станового пристава, а пристав, за час до этого подвига, выбил герою мужику два зуба за кражу шкворня. Мужик сильно ожегся, героиствуя, его отправили в больницу.

Прочитал Старостин эту трогательную историю и радостно заплакал, забормотал восхищенно:

- Как это хорошо, как задушевно написано! Н-да, брат, д-да! Учись, вникай в душу...

Рассказ очень не понравился мне, но я тоже едва не заплакал, видя радость автора. Его искреннее чувство так же искренно волновало и меня.

Но отчего же плакал этот неприятно смешной человек. Я попросил его дать мне рукопись и дома еще раз прочитал ее. Нет, рассказ был написан слащаво и нарочито жалобно, как пишутся фальшивые прошения "несчастных страдальцев" добрым и богатым вдовам. А все-таки, чем же вызваны искренние слезы автора и эта детская радость его?

- Не нравится мне рассказ, - сознался я Старостину.

Любовно складывая страницы рукописи, он вздохнул:

- Груб ты! и непонятлив.

- Что вас трогает в нем?

- Душа! - сердито крикнул он. - Душа в нем сияет!

Покричав на меня, сколько ему нравилось, он выпил водки и внушительно заговорил:

- Учись! Вот стихи пишешь ты, это глупо. Этого не надо. Надсоном ты не будешь, у тебя не та закваска, у тебя сердца нет, ты человек грубый. Помни: на стихах Пушкин погубил свой недюжинный талант. Проза - вот настоящая литература, - святая, честная проза.

Он сам служил для меня олицетворением этой святой прозы, а густой чад ее уже и тогда душил меня.

У Старостина была любовница, его квартирная хозяйка, женщина с полупудовыми грудями и задом, который не помещался на стуле. В день ее именин Старостин торжественно поднес ей широкое плетеное кресло, - это очень тронуло женщину. Трижды поцеловав возлюбленного в губы, она сказала, обращаясь ко мне:

- Вот, молодой юноша, учитеесь у старших, как надо ублажать даму.

Старостин стоял рядом с нею, счастливо улыбался и дергал пальцами свои серые уши, мягкие, как у собаки.

Был яркий день конца марта, на окнах обильно цвели фикусы, в комнату вливался весенний лепет вешних вод, в комнате стоял густой запах горячего пирога, мыла и табаку.

Юность и малограмотность не мешали мне тревожно чувствовать скрытые в "святой, честной прозе" возможности тяжелых и пошлых драм.

Мечтая о каких-то великих подвигах, о ярких радостях жизни, я охранял мешки, брезенты, щиты, шпалы и дрова от расхищения казаками ближайшей станции. Я читал Гейне и Шекспира, а по ночам, бывало, вдруг вспомнив о действительности, тихонько гниющей вокруг, часами сидел или лежал, ничего не понимая, точно оглушенный ударом палки по голове.

В городе, насквозь пропитанном запахами сала, мыла, гнилого мяса, городской голова приглашал духовенство служить молебны об изгнании чертей из колодца на дворе у него.

Учитель городского училища порол по субботам в бане свою жену; иногда она вырывалась от него, и нагая, толстая, бегала по саду, он же гонялся за нею с

прутьями в руках.

Соседи учителя приглашали знакомых смотреть на этот спектакль сквозь щели забора.

Я тоже ходил смотреть – на публику; подрался с кем-то и едва не попал в полицию. Один из обывателей уговаривал меня:

– Ну, чего ты разгорячился? Ведь на такую штуку всякому интересно взглянуть. Такой случай и в Москве не покажут.

Железнодорожный конторщик, у которого я нанимал угол за рубль в месяц, искренно убеждал меня, что все евреи не только мошенники, но еще и двуполые. Я спорил с ним, и вот, ночью, он в сопровождении жены и ее брата подошел к моей койке, желая освидетельствовать: не еврей ли я? Нужно было вывихнуть ему руку и разбить лицо его брату, чтобы отвязаться от них.

Кухарка исправника подмешивала в лепешки свою менструальную кровь и кормила ими своего знакомого машиниста, чтобы возбудить у него нежное к ней чувство. Подруга кухарки рассказала машинисту о страшном колдовстве, бедняга испугался, пришел к доктору и заявил, что у него в животе что-то возится, хрюкает. Доктор высмеял его, а он, придя домой, залез в погреб и там повесился.

Я рассказывал о всех этих и подобных им событиях "ададуровцам", они относились к ним, как к забавным анекдотам, и весело хохотали, к моему удивлению.

Рассказывая, я искал объяснения фактов, но не находил объяснения. Повести мои оценивались, как смешные или скверные анекдоты, и чаще всего слушатели утешительно говорили мне:

– Не обращайтесь внимания на этих людей, просто, они с жиру бесятся!

Но я видел, что хотя живут только для того, чтоб есть, и любовнее всего занимаются накоплением запасов разнообразной пищи, как будто ожидая всемирного голода, однако это они командуют жизнью, они грязно и тесно лепят ее. После всего, что я видел, жизнь хороших, умных интеллигентов казалась мне скучной, бесцветной, она тянулась как бы в стороне от полоумной темной суеты, которая создавала липкий быт бесконечных буден. Чем более внимательно наблюдал я, тем более неловко и тревожно чувствовал себя. Мне казалось, что интеллигенты не сознают своего одиночества в маленьком грязном городе, где все люди чужды, враждебны им, не хотят ничего знать о Михайловском, Спенсере и ни мало не интересуются вопросом о том, насколько значительна роль личности в историческом процессе?

На вечеринках интеллигенты осторожно ухаживали за какими-то серенькими женщинами, две из них, сестры, были удивительно похожи на летучих мышей.

Коренастый, колченогий Мазин, бывший офицер флота, увлекаясь Шопенгауером, красноречиво и восторженно говорил о "метафизике любви", "инстинкте рода", когда он немножко картаво произносил эти слова, летучие мыши, поджимая ноги, опускали черненькие глазки, плотно кутались в свои крылатые серенькие тальмочки, как будто опасаясь, что слова философа могут обнажить их.

И вскоре Мазин получил от брата летучих мышей, крупного чиновника Правления дороги, такую записку:

– Если вы, сударь, не перестанете в присутствии моих сестер разговаривать о метафизиках любви, то я вам, во-первых, морду побью, а во-вторых, подам жалобу на вас Начальнику дороги.

Присматривался я ко всему этому, прислушивался и вспоминал ночи у Петровского, где обнаженно до глубины своей разыгрывалась буйная и темная драма инстинкта и, ослепляя разум, показывала безумные, отчаянные игры любви. Полудикие люди, воры и пьяницы возвышались до экстаза, великолепно и умело распевая красивые, сердечные песни своего народа, а "философы", "радикалы", "народники" нескладно пели ноющие, пошленькие стишки: "не осенний, мелкий дождичек", "Там, где тинный Булак" или:

Сторож. Максим Горький gorkiymaxim.ru
Коперник целый век трудился,

Чтоб доказать земли вращенье.

Дурак!..

У меня не хватало ни разума, ни воображения, никаких сил, чтоб соединить эти два мира, разъединенные глубокой трещиной взаимного отчуждения.

Вот и в этот час, когда я пишу о том, что было более тридцати лет тому назад, пишу и ясно вижу пред собою тех и этих людей, я чувствую полное бессилие нарисовать словами фигуры близоруких книжников в очках и пенсне, в брюках "на выпуск", в разнообразных пиджаках и однообразно пестрых мантиях книжных слов. И это не потому, что одни грубы, угловаты, их легко взять, а другие гладко вылощены утюгами книг, – нет, здесь, на мой взгляд, дана глубокая, почти племенная, во всяком случае, внутренняя разобщенность¹.

На одной стороне бессмысленно и безысходно мечется сила инстинкта, на другой – бьется обескрыленной птицей разум, запертый в грязной клетке быта. Я думаю, что ни в одной стране земли творческие силы жизни не оторваны так далеко друг от друга, как это случилось у нас на Руси. Когда я почти со страхом рассказывал о ночных радениях у Петровского, я, порою, чувствовал скрытую зависть людей "культуры" к радостям жизни дикарей, и нередко мне казалось, что утехы Петровского осуждаются не по существу, а внешне, формально, из чувства "приличия".

Только П. Е. Баженов сказал, глубоко вздыхая:

– Ф-фа! Как это жутко!

И, подумав, покусав бороду, добавил:

– Я бы среди них пропал, как бык в трясине. Чем сильнее движения – тем скорее засасывает трясина. Да. Я понимаю, что влечет к ним таких, как вы: мы живем пресной жизнью, не празднично и мелко. А там – почти эпос, эпическая жизнь. Знаете, – этот Петровский давно уже под судом, – но у него есть "сильная рука" в Правлении. Недавно у него был обыск по новому делу: кража чая из вагона. Он вынул из стола бумагу и сказал, подавая ее следователю: "Здесь честно записано все, что я украл".

Нахмурясь, Баженов задумчиво прикрыл глаза, закинул руки свои за шею, помолчал, потом усмехнулся, говоря:

– Честно – украл. Только русский человек может сказать так, уверяю вас! Мы, кажется, и в самом деле призваны соединять несоединимое. Страшно веселимся, жестоко любим... И так далее, в этом духе...

Встав со стула, он потянулся, широко развел руки и заключил:

– А, все-таки, – хороший народ мы, русские! Оттого, должно быть, и несчастны сверх меры...

Баженов был один из немногих людей, которые вызвали у меня чувство глубокой симпатии и сердечного уважения. Томский семинарист, он после долгих хлопот поступил в Киевский университет, но со второго курса его исключили за "неблагонадежность", и несколько месяцев он сидел в тюрьме. Волосатый, похожий на переодетого священника, он двигался с осторожностью силача, и это придавало его крепкой высокой фигуре барственную важность, необычную в семинаристе. Обладал необыкновенно мягким голосом, но не имел слуха и относился к музыке почти враждебно, говоря:

– Она зовет в хаос.

С его широкого рябого лица в темной окладистой бороде смотрели ласково прищуренные серые глаза. Что-то снисходительно умное чувствовал я в его отношении ко мне и ко всем людям. Он хорошо рассказывал мне историю развития христианства, увлекательно говорил о сектах первых веков, помогал мне читать "Историю индуктивных наук" Узвелля. Беседуя, он бесшумно и легко расхаживал по

Сторож. Максим Горький gorki.ucoz.ru
комнате, засунув руки в карманы брюк и, подняв брови, резко кивал головой, – единственный жест, которым он подчеркивал наиболее значительные места своей речи. Но порою, среди фразы, не кончив ее, он задумывался, прикусив губами волосы бороды, почесывая мизинцем высокий изрытый оспой лоб, и долго стоял безмолвно. Эти моменты всегда почему-то смутно тревожили меня. Однажды я спросил: о чем он думает?

– Страшно много разума истрачено бесполезно, страшно много, – тихо сказал он. – И – какого разума!

Он часто и убедительно говорил о красоте и силе мысли:

– В конце концов, батя мой, все решает разум, – он – именно – и есть тот рычаг, который со временем перевернет весь мир.

– А – точки опоры? – спросил я.

– Народ, – убежденно ответил он, тряхнув головой. – В частности вы, ваш мозг.

Я очень любил его, сердечно верил ему.

Тихим вечером, лежа с ним в степи, я рассказал ему, как говорил полицейский Никифорыч о жалости и толстовец о Евангелии и Дарвине.

Внимательно и молча выслушав меня, он ответил:

– Дарвин, это – та истина, которую я не люблю, как не любил бы ад, будь он истиной. Но, видите ли, батя мой, – чем меньше трений в частях машин, тем лучше она работает. В жизни – наоборот: чем сильнее трение, тем быстрее идет жизнь к своей цели и к большей разумности. Разумность же – это и есть справедливость, гармония интересов. Рассуждая последовательно, – необходимо признать борьбу благим законом жизни. И тут ваш полицейский прав: если жизнь – борьба, жалость – неуместна.

Он задумался, лежа на спине, глядя в небо широко открытыми глазами.

Солнце, опустясь в облако, раскалило его и расплавилось в нем, превратясь в огромный костер красного огня, красные лучи легли на степь, на седые стебли прошлогодних былинки брызнуло розоватой росой. Запахи весенних трав и цветов стали сильнее, пьяней.

Баженов вдруг сел, закурил папиросу, но тотчас же отбросил ее, хмуро говоря:

– Я думаю, что гуманизм уже опоздал войти в жизнь, опоздал тысячи на три лет!.. Ну, мне надо итти в город, – идете?

В конце мая меня перевели весовщиком на станцию Крутую Волго-Донской ветки, а в июне я получил из Борисоглебска от приятеля переплетчика письмо, в котором переплетчик извещал меня, что Баженов застрелился в июне, у кладбища. В письме была вложена записка Баженова:

"Миша, продай мои вещи и заплати хозяевам квартиры 7 р. 30 к. А книги Узвелля переплети и пошли на Крутую, Пешкову, Максимичу, "башке". Спенсера тоже ему. Остальные – тебе. Пачку книг на латинском и греческом пошли в Киев, адрес вложен в них. Прощай, друг! Б."

Прочитав записку, я испытал оглушающий удар в сердце. Трудно было помириться с уходом из жизни такого, казалось, крепкого духом, трезвого человека.

Что убило его?

Мне вспомнилось, что однажды, в трактире, угощая меня пивом и немного захмелев, он, вдруг, сказал мне:

– Знаете, Максимич, какая самая лучшая песня в этом мире?

Наклонился через стол и, глядя в глаза мне глазами доброго медведя, тихонько мягким баском пропел печально:

Quand j'etais petit
Je n'etais pas grand,
J'allais a l'ecole
Comme les petits enfants...

Пропел, и глаза его стали влажными.

- Прелестная песенка, честное слово. Такая простота в ней и, знаете, такая смешная печаль...

Он перевел слова песни на русский язык, я не понял, чем восхищается в ней - почти до слез - этот волосатый, большой, умный человек...

После - я видел не мало людей, убитых "смешной печалью".

Через несколько месяцев жизнь, сурово, но заботливо воспитывая меня, напомнила мне о Петровском, заставив испытать одно из наиболее тяжелых впечатлений бытия моего.

В Москве, в грязном трактире, где-то около Сухаревой башни, за стол против меня сел длинный, тощий человек в очках; его костлявое лицо, остренькая борода, жидкие - в стрелку - усы напомнили мне Дон-Кихота рисунков Дорэ. На нем висел синий пиджак, явно чужой, нанковые серые штаны с заплатами на коленях были смешно коротки, на одной ноге - резиновая галоша, на другой - кожаный опорок сапога. Покручивая кончики усов, острые как шилья, он голодно осмотрел меня мутными глазами, встал, прилепив очки к седым бровям, и, пошатываясь, разводя руками, как слепой, подошел ко мне:

- Присяжный поверенный Гладков.

Грязными пальцами расписался с росчерком в воздухе и повторил внушительно:

- Алексей Гладков.

Говоря хрипло, он вертел шеей, точно его душила петля, невидимая мне.

Конечно, он оказался человеком благороднейшего сердца, пострадал за бескорыстное служение правде и низвергнут врагами ее "на дно жизни". Ныне он стоит во главе ордена "Преподобной Аквавита", занимается перепиской ролей для театров, защитой угнетенных невинностей, а также "стрельбою по сердцам и карманам нищелюбивых купчих".

- Россиянин, - а баба его - особенно, - любит страдать: страдание - или рассказ о нем - суть духовная горчица, без коей ничто не лезет в сердце, ожиревшее от разнообразной и обильной пищи телесной.

Я уже не мало наблюдал людей этого типа, привык относиться к ним недоверчиво, но - всегда с напряженным интересом, - в человеке, который упрямо лезет куда-то вверх, вполне разумен интерес к людям свалившимся оттуда. А затем так называемые "павшие люди", темные грешники часто бывают духовно богаче и даже красивее признанных праведников, у которых я еще в юности моей замечал нечто общее с восковыми фигурами паноптикумов.

Часа через два я лежал рядом с Гладковым на нарах мрачной ночлежки. Закинув руки под голову, вытянув жердеподобно тело свое, адвокат утешал меня афоризмами волчьей злости, бородака его торчала чортовым хвостиком, вздрагивая, когда он кашлял; - был он трогательно жалок в бессильной злобе своей и весь, как еж, украсился иглами едких слов.

Над нами висел сводчатый потолок подвала, по стене текла рыжая пахучая мокреть, с пола вздымался кислый запах гниющей земли, в сумраке бредили и храпели тела, окутанные лохмотьями. Окно с толстой железной решеткой смотрело в яму, выложенную кирпичем, в яме сидел кот; должно быть больной, он страдальчески мяукал. - На нарах, под окном сидел по-турецки уродливо толстый волосатый

Сторож. Максим Горький gorki.ucoz.ru
человечище, чинил штаны при свете огарка и хрипуче гудел:

Взбранной воеводе победительная,

Но яко избавльшеся от бед,

Благодарственная восписуем Ти

Раби Твои, Богородице.

Споет, звучно шлепнет толстыми губами и – начинает тянуть с начала тот же гимн.

– Пимен Маслов – химик, гениальный человек, – сказал о нем Гладков. В этой яме валялось еще несколько гениальных людей, между ними "знаменитейший" пианист Брагин, маленький и ловкий, точно юноша, а в густой шапке волнистых его волос – седые пряди и под глазами – синие мешки. Меня поразила двойственность его лица: печальной красоте женских глаз непримиримо противоречила кривая усмешка, губы у него были тонкие, злая усмешка эта казалась приклеенной к ним неподвижно, навсегда.

Утром Гладков сказал мне:

– Сейчас мы будем посвящать в кавалеры "Аквавита" новообращенного, вот, этого. Погляди, церемония замечательная.

Он указал мне молодого кудрявого человека в одной рубахе без штанов, человек был давно и до-синя пьян, голубые зрачки его глаз бессмысленно застыли в кровавой сетке белков. Он сидел на нарах, перед ним стоял толстый химик, раскрашивая щеки его фуксином, брови и усы жженой пробкой.

– Не надо, – бормотал кудрявый, болтая голыми ногами, а Гладков говорил мне, закручивая усы.

– Купеческий сын, студиозус, пятаю неделю пьет с нами. Все пропил деньги, одежду...

Явилась круглая жирная баба с провалившейся или перебитой переносицей и наглыми глазами; она принесла сверток рогож и бросила его на нары, сказав:

– Облачение – готово...

– Одеваться! – крикнул Гладков.

Пятеро угрюмых людей призрачно двигались в темноте подвала, серые, лохматые; "пианист" старательно раздувал угли в кастрюле. Люди изредка, ворчливо, перекидывались краткими словами:

– Двигай...

– Тише!

– Стой, куда?

Выдвинули нару на середину подвала. Маслов напялил на себя ризу из рогожи, надел картонную камилавку, а Гладков облачился дьяконом.

Четверо людей схватили кудрявого студента за ноги и за руки.

– Не надо – пожалуйста! – вздохнул он, когда его уложили на нару.

– Хор готов? – крикнул адвокат, размахивая кастрюлей и окуривая лежащего, в ней трещали угли, из нее поднимался синий дым тлеющих листьев веника, человек, лежа на нарах, морщился, кашлял, закрыв глаза, сучил ногами как муха, стуча пятками по доскам.

– Вонме-ем! – возгласил Гладков; одетый в рогожи он стал карикатурно страшен; как-то особенно резко крутил шей, вздергивал голову и кривил лицо.

Маслов, стоя в ногах студента, гнусовато на распев заговорил:

- Братие! Возопиим ко Дьяволу о упокоении свежепогибшего во пьянстве и рабстве Вавилонстием болярина Иакова, да примет его сатана с честью и радостью и да погрузит в мерзость адову во веки веко-ов!

Пятеро лохматых оборванцев, тесной грудой стоя с правой стороны нар, мрачно запели кощунственную песнь; хриплые голоса звучали в каменной яме глухо, подземно. Роль регента исполнял Брагин, красиво дирижируя правой рукой, предостерегающе подняв левую.

Трудно было удивить меня бесстыдством, - слишком много видел я его в разных формах, - но эти люди пели нечто невыразимо мерзкое, обнаружив сочетанием бесстыдных слов и образов, поистине, дьяволу фантазию, безграничную извращенность. Ни прежде, ни после этого, до сего дня, я не слышал ничего извращенного более утонченно и отчаянно. Пять глоток изливали на человека поток ядовитой грязи, - они делали это без увлечения, а как нечто обязательное, они не забавлялись, - а - служили, и ясно было - служат не впервые, церемония уничтожения человека развивалась гладко, связно, торжественно, как в церкви.

Подавленный, я слушал все более затейливо гнусные возгласы Гладкова, циническое чтение "химика", глухой рев хора и смотрел на человека, которого заживо отпевали, служа над ним кощунственную литургию.

Сложив руки на груди, он шевелил губами, неслышно бормотал и кричал что-то, моргал вытаращенными глазами, глупо улыбался и - вдруг испуганно вздрагивал, пытаясь соскочить с нар, - хористы молча прижимали его к доскам.

Вероятно, "церемония" показалась бы менее отвратительной, если бы грязные призраки смотрели на нее как на забаву, игру, - если бы они смеялись, хотя бы, смехом циников, смехом отчаяния "бывших людей", изуродованных жизнью, горько обиженных ею. Но они относились к своему делу с угрюмой напряженностью убийц, они вели себя, как жрецы, принося жертву духу болезненно и мстительно разнузданного воображения.

Обессиленный, онемев, я чувствовал, что страшная тяжесть давит меня, погружая в невылазную трясику, что эти призрачные люди отпевают, хоронят и меня. Помню, что я глупо и растерянно улыбался и был момент, когда я хотел просить:

- Перестаньте, это нехорошо, - это - страшно и вовсе не шутка.

Особенно резал ухо и сердце тонкий голос "пианиста"; пианист надорванно выл, закрыв глаза, закинув голову, выгнув кадык; его вой, покрывая хриплые голоса других певцов, плавал в дымном сумраке, и как-то особенно сладострастно обнажал мерзость слов. Меня мучило звериное желание завывать, зарычать.

- Могила! - крикнул Гладков, взмахивая кадиллом-кастрюлей.

Хор во всю силу грянул:

Гряди, гряди,

Гроб, гроб...

и - вошла баба с перебитым носом, совершенно голая, она шла приплясывая, ее дряблое тело вздрагивало, груди кошельями опускались на живот, живот свисал жирным мешком на толстые ноги в лиловых пятнах шрамов и язв, в синих узлах вен.

Маслов встретил ее непристойным жестом, дьякон Гладков повторил этот жест, баба, взвизгивая гадости, приложилась к ним поочередно; хористы подняли ее за руки, за ноги и положили на нару рядом с отпетым.

- О-о, не надо, - крикнул он визгливо, попытался спустить ноги с нар, но его прижали к доскам и под новый, почти плясовой, а все-таки - мрачный мотив отвратительной песенки, баба наклонясь над ним, встряхивая грязно-серыми кошельями грудей, начала мастурбировать его.

Тут я вспомнил "Королеву Марго" - лучшее видение всей жизни моей, - в груди ярко

Сторож. Максим Горький gorkiymaxim.ru

взорвалось что-то, я бросился на эти остатки людей и стал бить их по мордам.

...К вечеру я нашел себя под насыпью железнодорожного пути, на груди шпал, пальцы рук моих были разбиты, сочились кровью, левый глаз закрыла опухоль. С неба, грязного как земля, сыпался осенний дождь, я срывал пучки мокрой жухлой травы и, вытирая ею лицо, руки, думал о том, что было показано мне.

Я был здоров, обладал недюжинной силой, мог девять раз, не спеша, истово перекреститься двухпудовой гирей, легко носил по два пятипудовых мешка муки, - но в этот час я чувствовал себя совершенно обездушенным, ослабевшим, как больной ребенок. Мне хотелось плакать от горькой обиды. Я жадно искал причаститься той красоте жизни, которой так соблазнительно дышат книги, хотел радостно полюбоваться чем-то, что укрепило бы меня. Уже наступило для меня время испытать радости жизни, ибо все чаще я ощущал приливы и толчки злобы, - темной жаркой волною она поднималась в груди, ослепляя разум, сила ее превращала острое мое внимание к людям в брезгливое, тяжелое презрение к ним.

Было мучительно обидно, - почему я встречаю так много грязного и жалкого, тяжко глупого или странного?

Было страшно вспоминать "церемонию" в ночлежке, сверлил ухо крик Гладкова:

- Могила!

и расплывалось перед глазами отвратительное тело бабы, - куча злой и похотливой мерзости, в которую хотели зарыть живого человека.

И тут, вспомнив разнузданность "монашьей жизни" Петровского, я почувствовал, как невинно бешенство плоти здоровых людей, сравнительно с безумием гнили, не утратившей внешний облик человека.

Там было некое идолопоклонство красоте; там полудикие люди молились от избытка сил, считая этот избыток грехом и карою, - может быть, бунтуя в призрачной надежде на свободу, боясь "погубить душу" в ненасытной жажде тела.

Здесь - бессилие поникло до мрачного отчаяния, до гнуснейшего, мстительного осмеяния того инстинкта, который непрерывно победоносно засекает опустошенные смертью поля жизни и является возбудителем всей красоты мира; здесь свински подрывали самый корень жизни, отравляя гноем больного воображения таинственно прекрасные истоки ее.

Но - что же это за жизнь там, наверху, откуда люди падают так страшно низко?

1 -- Тревожное ощущение духовной оторванности интеллигенции, как разумного начала, от народной стихии всю жизнь более или менее настойчиво преследовало меня. В литературной работе моей я неоднократно касался этой темы, ею вызваны рассказы "Мой спутник" и другие. Постепенно это ощущение перерождалось в предчувствие катастрофы. В 1905 году, сидя в Петропавловской крепости, я пытался разработать эту же тему в неудачной пьесе "Дети Солнца". Если разрыв воли и разума является тяжелой драмой жизни индивидуума, - в жизни народа этот разрыв - трагедия.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!